

Осенние грусти и радости

На исходе осени, когда голы уже леса, а горы по ту и другую сторону Енисея кажутся выше, громадней, и сам Енисей, в сентябре еще высветлившийся до донного камешника, со дна же возьмется сонною водой, и по пустым огородам проступит изморозь, в нашем селе наступает короткая, но бурная пора, пора рубки капусты.

Заготовка капусты на долгую сибирскую зиму, на большие чалдонские семьи — дело основательное, требующее ежегодной подготовки, потому и рассказ о рубке капусты поведу я основательно, издалека.

Картошка на огородах выкопана, обсушена и ссыпана на еду — в подполье, на семена и продажу — в подвал. Морковь, брюква, свекла тоже вырезаны, даже редьки, тупыми рылами прорывшие обочины гряд, выдернуты, и пегие, дородные их тела покоятся в сумерках подвала поверх всякой другой овощи. Про овощ эту говорят в народе все как-то с насмешкой: “Чем бес не шутит, ныне и редька в торгу! В пост — редьки хвост!” Но вот обойтись без нее не могут, особенно после гулянок и при болезнях, когда требуется крепить дух и силу.

Хлеб убран, овощи при месте, ботва свалена в кучи, семя намято, путанные плети гороха и сизые кусты бобов с черными, ровно обуглившимися стручками брошены возле крыльца — для обтирки ног.

Возишь по свитым нитям гороха обувкой и невольно прощупываешь глазами желтый, в мочалку превращенный ворох, вдруг узрешь стручок, сморщенный, белый, с затвердевшими горошинами, и дрогнет, сожмется сердце. Вытрешь стручок о штаны, разберешь его и с грустью высыплешь ядрышки в рот и, пока их жуешь, вспоминаешь, как совсем недавно пасся в огороде на горохе, подпертом палками, и как вместе с тобою пчелы и шмели обследовали часто развешанные по стеблям сиреневые и белые цветочки, и как Шарик, всеядная собака, шнырял в гороховых зарослях, зубами откусывал и, смачно чавкая, уминал сахаристые гороховые плюшки.

Теперь Шарика на грязный, заброшенный огород и калачом не заманишь. Одна капуста на огороде осталась, развалила по грядам зеленую свою одежду. В пазухи вилок, меж листьев налило дождя и росы, а капуста уж так опилась, такие вилки закрутила, что больше ей ничего не хочется. В светлых брызгах, в лени и довольстве, не страшась малых заморозков, ждет она своего часа, ради которого люди из двух синеватых листочков рассады выхолили ее,

отпоили водой.

Среди огорода стоит корова и не то дремлет, не то длинно думает, тужась понять, почему люди так изменчивы в обращении с нею. Совсем еще недавно, стоило ей попасть в огород, они, как врага-чужеземца, гнали ее вон и лупили чем попало по хребту, ныне распахнули ворота — ходи сколько хочешь, питайся.

Она сперва ходила, бегала даже, задравши хвост, ободрала два вилка капусты, съела зеленую траву под черемухой, пожевала вехотку в предбаннике, затем остановилась и не знает, что дальше делать. От тоски, от озадаченности ли корова вдруг заушает, заблажит, и со всех огородов, из-за конопляных и крапивных меж ей откликнутся такие же, разведенные с коллективом, недоумевающие коровы.

Куры тоже днем с амбара в огород слетают, ходят по бороздам, лениво клюют и порошат давно выполотую траву, но больше сидят, растопорщившись, с досадою взирают на молодых петушков, которые пыжаты, привстают на цыпочки, пробуют голоса, да получается-то у них срамота, но не милая куриному сердцу, атаманская песня задиры петуха.

В такую вот унылую, осеннюю пору пробудился я утром от гула, грома, шипения и поначалу ничего разобрать и увидеть не мог — по избе клубился пар, в кути, будто черти в преисподней, с раскаленными камнями метались человеки.

Поначалу мне даже и жутко сделалось. Я за трубу спросонья полез. Но тут же вспомнил, что на дворе поздняя осень и настало время бочки и кадушки выбучивать. Капусту солить скоро будут! Красота!

Скатился с печки и в куть.

— Баб, а баб... — гонялся за угорелой, потной бабушкой. — Баб, а баб?..

— Отвяжись! Видишь — не до тебя! И каку ты язву по мокрому полу шлендаешь? Опеть издыхать начнешь? Марш на печку!..

— Я только спросить хотел, когда убирать вилки. Ладно уж, жалко уж...

Я взобрался на печь. Под потолком душно и парко. Лицо обволакивало сыростью — дышать трудно. Бабушка мимоходом сунула мне на печь ломоть хлеба, кружку молока.

— Ешь и выметайся, — скомандовала она. — Капусту завтра убирать, благословесь, начнем.

В два жевка съел горбушку, в три глотка молоко выпил, сапожишки на ноги,

шапчонку на голову, пальтишко в беремя и долой из дому. По кути пробирался ощупью. Везде тут кадки, бочонки, ушаты, накрытые половиками. В них отдаленно, рокотно гремит и бурлит. Горячие камни брошены в воду, запертые стихии бушуют в бочках. Тянет из них смородинни-ком, вереском, травой мятой и баннным жаром.

— Кто там дверь расхабарил? — крикнула бабушка от печки.

В устье печки пошевеливалось, ворочалось пламя, бросая на лицо бабушки багровые отблески.

На улице я аж захлебнулся воздухом. Стоя на крыльце, отпыхиваясь, рубаху тряс, чтоб холодком потную спину обдало. Под навесом дедушка в старых бахилах стоял у точила и одной рукой крутил колесо, другой острил топор. Неловко так — крутить и точить. Это ж первейшая мальчишеская обязанность — крутить точило!

Я поспешил под навес, дед без разговоров передал мне железную кривую ручку. Сначала крутил я бойко, аж брызгала из-под камня точила рыжая вода. Но скоро пыл мой ослабел, все чаще менял я руку и с неудовольствием замечал — точить сегодня много есть чего: штук пять железных сечек да еще ножи для резки капусты, и, конечно, дед не упустит случая и непременно подправит все топоры. Я уж каялся, что высунулся крутить точило, и надеялся тайно па аварию с точилом или какое другое избавление от этой изнурительной работы.

Когда сил моих осталось совсем мало и пар от меня начал идти, и не я уж точило крутил, точило меня крутило, звякнула щеколда об железный зуб и по дворе появился Санька. Ну прямо как Бог или бес этот Санька! Всегда появляется в тот миг, когда нужно меня выручить или погубить.

Насколько возможно, я бодро улыбался и ждал, чтоб он поскорее попросил ручку точила. Но Санька ж великая язва! Он сначала поздоровался с дедом, потолковал с ним о том о сем, как с ровней, и только после того как дед кивнул в мою сгорону и буркнул: “Подмени работника”. Санька небрежно перехватил у меня ручку, играючи, завертел ее, закрутилось, завертелось, зашипело точило, начало выхлестывать воду из корытца, дед приподнял топор:

— Полегче, полегче! Жало вывожу.

Я сидел на чурбаке. Мне все это немножко обидно было видеть и слышать.

— А мы скоро капусту рубить будем.

— Знаю. Катерина Петровна и наши бочки выпаривает. Мы помогать званы.

Да, конечно, Саньку ничем не удивишь. Санька в курсе всех наших хозяйственных дел и готов трудиться где угодно, с кем угодно, только чтоб в школу не ходить. Ему неуды за поведение ставят и записки учитель домой пишет. Прочитавши записку, тетка Васеня беспомощно хлопала глазами, потом гонялась с железной клюкой за Санькой. Дядя Левонтий, если трезвый, показывал сыну руки в очугунелых мозолях, пытался своим жизненным примером убедить сына, как тяжело приходится добывать хлеб малограмотному человеку. Пьяный же дядя Левонтий неизменно спрашивал таблицу умножения у Саньки:

— Матрос! Братишка! — поднимал он палец, настраиваясь лицом на серьезное учительское выражение. — Сколько будет пятью пять? — и тут же сам себе с нескрываемым удовольствием отвечал: — Тридцать пять!

И бесполезно доказывать дяде Левонтию, что не прав он, что пятью пять совсем не тридцать пять. Дядя Левонтий обижался на какие-либо поправки, принимался убеждать, что он человек положительный, трудовой, моряком был, в разные земли хаживал и захудал маленько сейчас вот только, но прежде с ним капитан парохода за ручку здоровался, и какой-то большой человек часы ему со звоном на премию выдал, за исправную службу. Правда, потом с парохода его списали, и часы он с горя пропил, но все равно не переставал гордиться собою.

Санька меж тем потихоньку уматывал из дому. Дядя Левонтий с претензиями к тетке Васене повертывался — неправильно воспитывает детей, нет порядку на корабле. Васеня ж с претензией обратной, и пока шумели друг на дружку муж с женою, то уж окончательно забывали, с чего все возмущение вышло, и воспитание Саньки на этом заканчивалось.

Кого почитал и побаивался Санька в селе, так это моего дедушку, без которого он и дня прожить не мог. Санька всякую работу исполнял так, чтобы дедушка одобрительно кивнул или хоть взглянул на него, тогда он гору мог своротить, чтоб только деду моему потрафить.

И когда мы начали убирать капусту, Санька такие мешки на себе таскал, что дед не выдержал, укорил бабушку:

— Ровно на коня валишь! Ребенок все же!

Слово “ребенок” по отношению к Саньке звучало неубедительно как-то, бабушка, конечно же, дала деду ответ в том духе, что своих детей он сроду не

жалел, чужие всегда ему были милее, и что каторжанца этого и жигана, Саньку, он балует больше, чем родного внука — меня, значит, — но вилок в мешок бросала поменьше. Санька потребовал добавить ношу, бабушка покосилась в сторону деда:

— Надсадишься! Ребенок все же...

— Ништя-а-ак! Наваливай, не разговаривай! — Нетерпеливо перебирая ногами, Санька жевал с крепким хрустом белую кочерыжку. Бабушка добавила ему вилок-другой и подтолкнула в спину:

— Ступай, ступай! Будет.

Санька игогокнул, взглянул и помчался с огорода во двор. На крыльцо он взлетел рысачком и, раскатившись в сенках, с грохотом вывалил вилки. Я мчался следом за ним с двумя вилами под мышками, и мне тоже было весело. Шарик катился за нами следом, гавкал, хватал за штаны зубами, курицы с кудахтаньем разлетались по сторонам.

Последние вилки вырубали уже за полдень и бросали их в предбанник. Бабушка убежала собирать на стол, мужики присели на травянистую завалинку бани отдохнуть и услышали в небе гусиный переклик. Все разом подняли головы и молча проводили глазами ниточку, наискось прошившую небо над Енисеем. Гуси летели высоко над горами, и мне почему-то чудилось, что вижу я их во сне, и, как будто во сне же, все невнятной, все мягче становился отдаляющийся гусиный клик, ниточка тоньшала, пока вовсе не истлела в красной, ветреную погоду предвещавшей заре.

От прощального ли клика гусей, оттого ли, что с огорода была убрана последняя овощь, от ранних ли огней, затлевших в окнах близких изб, от коровьего ли мыка, сделалось печально на душе. Санька с дедом тоже погрустнели. Дед докурил сигарку, смял ее бахилом, вздохнул виновато, как будто прощался не с отслужившим службу огородом, а покидал живого приболевшего друга: огород весь был зябкий, взъерошенный, в лоскутках капустного листа, с редкими кучами картофельной ботвы, с обнаженными, растрепанными кустами осота и ястребинника, с прозористыми, смятыми межами, с сиротски чернеющей черемухой.

— Ну вот, скоро и зима, — тихо сказал дед, когда мы вышли из огорода, пустынно темнеющего среди прясел. Он плотно закрыл створку ворот и замотал на деревянном штыре веревку. Забылся дед — нам ведь еще из предбанника вилки капусты брать, пускать корову пастись на обьедках, она часами будет стоять недвижно среди захлавленной земли и время от времени орать на всю

деревню — тоскуя по зеленым лугам, по крепко сбитому рогатому табуну.

Утром я убежал в школу, с трудом дождался конца уроков и помчался домой. Я знал, что в нашем доме сейчас делается, что полна горница вольной вольницы, мне там быть позарез необходимо.

Еще с улицы слышал я стук сечек, звон пестика о чугунную ступу и песню собравшихся на помощь женщин:

Злые люди, ненавистные

Да хочут с милым ра-а-азлучи-ить...

Ведет голос тонкий, звонкий — аж в ушах сверлит. И вдруг словно обвал с горы:

Э-эх, из-за денег, из-за ревности

Брошу милова-а-а люби-и-ить...

Никакая помощь без выпивки не бывает. Оттого и поют так слаженно и громко женщины — дернули по маленькой, чтобы радостней трудилось и пелось.

В два прыжка вымахнул я на крыльцо, распахнул дверь в куть. Батюшки-светы, что тут делается! Народу полна изба! Стукоток стоит невообразимый! Бабушка и женщины постарее мнут капусту руками на длинном кухонном столе. Скрипит капуста, будто перемерзлый снег под сапогами. Руки у этих женщин до локтей в капустном крошечке, в красном свекольном соку. На столе горкой лежат тугие белые пласты, здесь же морковка, нарезанная тонкими кружочками, и свекла палочками. Под столом, под лавками, возле печи навалом капуста. На полу столько кочерыжек и листа, что и половиц не видно: возле дверей уже стоит высокая капустная кадка, прикрытая кружком, задавленная огромными камнями, из-под кружка выступил мутный свекольный сок. В нем плавают семечки аниса и укропа — бабушка чужь-чуть добавляет того и другого — для запаха.

Вязко сделалось во рту.

Я вознамерился хватануть щепотку капусты из кадки, да увидел меня Санька, поманил к себе. Он находился не среди ребятни, которая, я знаю, ходит сейчас на головах в средней и в горнице. Он среди женщин. Взгляд Саньки солов. Видать, подали Саньке маленькую женщины, или он возбудился от общего веселья. Колотит Санька пестиком так, что ступа колоколом звенит на весь дом, разлетаются из нее камешки соли.

Витька-титька — королек,

Съел у бабушки пирог!

Бабушка ругается,

Витька отпирается!.. —

подыгрывая себе пестиком, грянул Санька.

Я так спешил домой, так возгорелся заранее той радостью, которая, я знал, была сегодня в нашей избе, а тут меня окатили песней этой насчет пирога, который я и в самом деле как-то унес и с этим же Санькой-живоглотом разделил. Но когда это было! Я уж давно раскаялся в содеянном, искупил вину. Но нет мне покоя от песни клятой ни зимой, ни летом. Хотел я повернуться и уйти, но бабушка вытерла руки о передник, погрозила Саньке пальцем, тетка Васеня смазала Саньку по ершистой макушке — и все обошлось.

Бабушка провела меня в среднюю, сдвинула на угол стола пустые тарелки, рюмки, дала поесть, затем вынула из-под лавки бутылку с вином, на ходу начала наливать в рюмку и протяжно, певуче приговаривать:

— А ну, бабоньки, а ну, подруженьки! Людям чтоб тын да помеха, нам чтоб смех да потеха!

Одна сечка перестала стучать, другая, третья.

— Штабы кисла, не перекисла, штабы на зубе хрустела!

— Штабы капуста была не пуста, штабы, как эта рюмочка, сама летела в уста!

— Мужики моему она штабы костью в горле застревала, а у меня завсегда живьем катилась!.. — ухарски крякнула тетка Апроня, опрокинула рюмку и утерлась рукавом.

Бабы грохнули, и каждая из них, выпив рюмочку, сказала про своего мужика такое, чего в другой раз не только сказать, но и помыслить не посмела б.

Мужикам в эту избу доступа сегодня не было и быть не могло. Проник былодядя Левонтий под тем видом, что не может найти нужную позарез вещь всвоем доме, но женщины так зашумели, с таким удальством поперли на него, замахиваясь сечками и ножиками, что он быстренько, с криком: “Сдурели, стервы!” — выкатился вон. Однако бабушка моя, необыкновенно добрая в этот день, вынесла ему рюмашку водки на улицу, и он со двора крикнул треснутым басом:

— Э-эй, пал-лундр-ра! Пущай капуста такая же скусная будет.

Я наскоро пообедал и тоже включился в работу. Орудовал деревянной толкушкой, утрамбовывал в бочонке нарубленную капусту, обдирал зеленые листья с вилок, толлок соль в ступе попеременно с Санькой, скользил на мокрых листьях, подпевал хору. Не удержав порыву, сам затянул выученную в школе песню:

Распустила Дуня косы,

А за нею все матросы!

Эх, Дуня, Дуня, Дуня, я,

Дуня — ягодка моя!

— Тошно мне! — всплеснула бабушка руками. — Работник-то у меня чЕ выучил, а? Ну грамотей, ну грамотейЯ от похвалы возликовал и горланил громче прежнего:

Нам свобода нипочем!

Мы в окошко кирпичом!

Эх, Дуня, Дуня, Дуня, я,

Дуня — ягодка моя!..

Меж тем в избе легко, как будто даже и шутейно, шла работа. Женщины, сидя в ряд, рубили капусту в длинных корытах, и, выбившись из лада, секанув по деревянному борту, та или иная из рубщиц заявляла с громким, наигранным ужасом:

— Тошно мне! Вот так уработалась! Ты больше не подавай мне, тетка Катерина!

— И мне хватит! А то я на листья свалюсь!

— И мне!

— Много ль нам надо, бабам, битым, топтаным да изработанным...

— Эй, подружки, на печаль не сворачивай! — вмешивалась бабушка в разговор.

— Печали наши до гроба с нами дойдут, от могилы в сторону увильнут и ко другим бабам прилипнут. Давайте еще споем. Пущай не слышно будет, как воем, а слышно, как поем. Гуска, заводи!

И снова вонзился в сырое, пропитанное рассолом и запахом вина, избяное пространство звонкий голос тетки Августы, и все бабы с какой-то забубенностью, отчаянием, со слезливой растроганностью подхватывали протяжные песни.

Вместе со всеми пела и бабушка, и в то же время обмакивала плотно спрессовавшиеся половинки вилок в соленую воду, укладывала их в бочку-толково, с расчетливостью, затем наваливала слой мятого, отпотевшего крошева капусты — эту работу она делала всегда сама, никому ее не передоверяла, и, приходя потом пробовать к нам капусту, женщины восхищались бабушкиным мастерством:

— А будь ты неладна! Слово како знаешь, Петровна? Ну чисто сахар!..

Взволнованная похвалой, бабушка ответствовала на это с оттенком скромной гордости:

— В любом деле не слово, а руки всему голова. Рук жалеть не надо. Руки, они всему вкус и вид делают. Болят ночами рученьки мои, потому как не жалела я их никогда...

К вечеру работа затихала. Один по одному вылезали из горницы и из средней ребятишки. Объевшиеся сладких кочерыжек, они сплошь мучились животами, хныкали, просились домой. Досадливо собираясь, женщины хлопали их и желали, чтоб поскорее они вовсе попропадали, что нет от них, окаянных, ни житья, ни покоя, и с сожалением покидали дом, где царили весь, такой редкий в их жизни день, где труд был не в труд, в удовольствие и праздник.

— Благодарствуем, Катерина Петровна, за угошшэние, за приятну беседу. Просим к нам бывать! — кланялись женщины. Бабушка, в свою очередь, благодарила подружек за помощь и обещала быть, где и когда потребуется делу.

В сумерках выгребли из кухни лист, кочерыжки, капустные отходы. На скорую руку тетки мыли полы в избе, бросали половики и, только работа завершилась, с

заимки, где еще оставался наш покос, вернулись дедушка и Кольча-младший. Они там тоже все убрали и подготовили к зиме.

Бабушка собрала на стол, налила дедушке и Кольче-младшему по рюмочке водки, как бы ненароком оставшейся в бутылке.

Все ужинали молча, устало.

Мужики интересовались, как с капустой? Управились ли? Бабушка отвечала, что, слава Тебе, Господи, управились, что капуста ноне уродилась соковитая, все как будто хорошо, но вот только соль ей не глянется, серая какая-то, несолкая и кабы она все дело не испортила. Ее успокаивали, вспоминая, что в девятнадцатом или в двадцатом году соль уж вовсе никудашной была, однако ж капуста все равно удалась и шибко выручила тогда семью.

После ужина дед и Кольча-младший курили. Бабушка толковала им насчет погреба, в котором надо подремонтировать сусеки. Утомленно, до слез зевая, наказывала она Кольче-младшему, чтобы он долго на вечерке не был, не шлялся бы до петухов со своей Нюрой-гуленой, потому как работы во дворе невпроворот, и не выпится он опять. И, конечно же, добавляла еще кой-чего про Нюрку, которая то у нас жила, то убегала ко своим, не выдержав бабушкиного угнетения и надзора.

Кольча-младший согласно слушал ее, однако ж и он, и бабушка доподлинно знали, что слова эти напрасны и не вонмет им никто.

Кольча-младший уходил из избы и еще на крыльце запевал что-то беззаботное, отстраненное, ровно на пороге отряхнул с себя, как дерево осенние листья, все бабушкины наказания.

— Эй, Мишка! Ты скоро там? — звал он за воротами.

Безродный Мишка Коршуков, призремый теткой Авдотьей и определившийся на временное жительство в ее доме, озоровато бросал: “Шшас! Гармошку починю, надиколонюсь, тетке Авдотье дров наколю, девок ее ремнем напорю, Тришихе окна перебью...”

Мишка Коршуков с Кольчей-младшим дерзко кричали под деревенскими окнами солоноватую частушку. Вслед парням, в украдкой раздвинутые занавески, смотрели завистливым оком тетки Авдотьины девки, которых она хотя и строго держит, однако часто удержать не может — сбегают они на мост, на вечерки. Тогда тетка Авдотья стремительно мчится по деревенским улицам, выглядывает их в укромных углах и тащит за волосы домой, срамя на весь белый свет, обзывая своих гулен распоследними словами.

Бабушка хукнула в стекло лампы и в темноте шептала, слушая тайно свершающуюся за окошком жизнь:

— Вот ведь сикухи! Вот ведь волосотряски! Нискоко мать не слушают! Не-е, мои девки ране... — Но не все, видать, и у ее девок было в ладу, таскала и она их за волосы, сколь мне известно. Перевернувшись на другой бок, бабушка и рассуждения распочинала с другого бока:

— Парни раздерутся опять! И эта, ни жена, ни невеста советская! Нет штабы дома посидеть, починяться, — на вечерку прибежит! Хоть бы Кольчу не подкололи. Народец-то ноне... Господи, оборони.

Ворочается, вздыхает, бормочет, молится бабушка, и мне приходит в голову — она ведь не об одном Кольче-младшем так вот беспокоилась. Те дядья мои и тетки, которые определились и живут самостоятельно, так же гуляли когда-то ночами, и так же вот ворочалась, думала о них и молилась бабушка. Какое же должно быть здоровое, какое большое сердце, коли обо всех оно, и обо мне тоже, болело, болит...

— Ах, рученьки мои, рученьки! — тихо причитала бабушка. — И куда же мне вас положить? И чем же мне вас натереть?

— Баб, а баб? Давай нашатырным спиртом? — Я терпеть не могу нашатырный спирт — он щиплет глаза, дерет в носу, но ради бабушки готов стерпеть все.

— Ты еще не угомонился? Спи давай. Без соплей мокро. Фершал нашелся!..

Ставни сделали избу глухой, отгородили ее от мира и света. Из кути тянет закисающей капустой, слышно, как она там начинает пузыриться, как с кряхтеньем оседают кружки, придавленные гнетом.

Тикали ходики. Бабушка умолкла, перестала метаться на кровати, нашла место ноющим рукам, уложила их хорошо.

С первым утренним проблеском в щелях ставней она снова на ногах, управляется по дому, затем спешит на помочь, и теперь уже в другой избе

разгорается сыр-бор, стучат сечки, взвиваются песни, за другие сараи бегают ребятишки, объевшиеся капусты и кочерыжек. Целую неделю, иногда и две по всему селу рассыпался стукоток сечек, шмыгали из потребиловки женщины, пряча под полушалками шкалики, мужики, вытесненные из изб, толклись у гумна или подле покинутой мангазины, курили свежий табак, зачерпнув щепотку друг у дружки из кисетов, солидно толковали о молотье, о промысле белки, о санной дороге, что вот-вот должна наступить, какие виды и слухи насчет базара и базарных цен в городе.

Зима совершенно незаметно приходила в село под стук сечек, под дружные и протяжные женские песни. Пока женщины и ребятишки переходили из избы в избу, пока рубили капусту, намерзали на Енисее забереги; в огородные борозды крупы и снежку насыпало: на реке густела шуга; у Караульного быка появлялся белый подбой, ниже которого темнела полынья. К этой поре и запоздалые косяки гусей пролетали наши скалистые, непригодные для гнездовий и отсидок места.

И однажды ночью неслышно выпадал снег, первый раз давали корове навильник пахучего сена, она припадала к нему, зарываясь до рогов в шуршащую охапку. Шарик катался по снегу, прыгал, гавкал, будто рехнулся.

Днем мужики выкатывали из куги бочонки и кадки с капустой, по гладким доскам спускали их в подвал. Сразу в кути делалось просторно, бабушка подтирала пол и приносила в эмалированной чашке розоватый, мокрый пласт капусты. Она разрезала его ножиком на слоистые куски, доставала вилки, хлеб.

Но мужики пробовали капусту без хлеба.

Кольча-младший хрустко жевал минуту-другую. Я жевал. Дедушка жевал. Бабушка напряженно стояла в отдалении, терпеливо ожидала приговору.

— Ельник, березник — чем не дрова? Хрен да капуста — чем не еда? Закуска — я те дам! — заключал Кольча-младший и, крикнув, цеплял на вилку кус побольше и хрустел вкусно, с удовольствием.

Дед говорил просто:

— Ничего. Если можно.

Я пока еще не имел права изображать из себя хозяина и просто показывал большой палец, мол, капуста на ять.

Бабушка облегченно бросала крестики на грудь, шептала: “Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господи! Теперь прозимуем. Картошек накопили дивно — и себе, и

на продажу хватит. Кольче катанки справим, самому полушубчишко бы надо. Витьке тоже чего-нито из одежонки бы прикупить. Дерет, язвило бы его, пластат все...”

Весь день бабушка резво, будто молодая, суетилась по избе, наговаривала с собою, покрикивала на меня, на Шарика, даже топала ногой. Но ни Шарик, ни я даже не собирались бояться ее в такой день, легкий, славный — бабушка сердилась на нас понарошке, пугала для виду.

Долгая, стойкая зима-прибериha снегами и морозами заклинивала деревенскую жизнь. Большею частью под крышами изб, во дворах шла эта жизнь, в амбарах, стайках, и если хозяева-старатели запаслись овощью, ягодами, капустой — одолевали зиму без нужды и горя, пощелкивая кедровые орехи, говорили вечерами сказки, с крещенских трескучих морозов принимались гулять, справлять свадьбы, именины и все праздники подряд.

И в каждой избе в центре стола, как главный фрукт, красовалась в тарелке, в чашке или в глиняной латке сельская беда и выручка — квашеная капуста, то выгибаясь горбом розового пласта, то растопорщившись сочным и мокрым листом, то накрошенная сечками.

И какая уж такая сила была в той капусте — знать мне не дано, однако смолачивали ее за зиму с картошкой, во щах, пареную, жареную и просто так целые бочонки, были здоровы, зубов и бодрости не теряли до старости, работали до самой могилы за двоих, пили под капусту за троих.